

Конст. ФЕДИН

*Государственное
издательство
художественной
литературы*

Конст. ФЕДИН

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ**

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Конст. ФЕДИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ВТОРОЙ

ГОРОДА и ГОДЫ

Роман

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

П р и м е ч а н и я
Б. Б Р А Й Н И Н О Й

Г О Р О Д А и Г О ДЫ

Р о м а н

У нас было все впереди,
у нас не было ничего впереди.

Чарльз Диккенс

Что касается вина, то он пил воду.

Виктор Гюго

*Глава о годе,
которым завершен роман*

РЕЧЬ

— Дорогие соседи, добрейшие обыватели, почтенные граждане! Я высунулся из окна с заранее обдуманным намерением: мне скучно, дорогие соседи, меня грызет тоска, почтенные граждане, сердце мое ссохлось и свернулось штопором, как лимонная корка на раскаленной солнцем мостовой.

— Почтенные обыватели! Это верно, что на дворе тысяча девятьсот двадцать второй год.

— Передо мной восемьдесят пять окон, не считая двух чердачных, одного подвального, одного, искусно нарисованного на стене мальяром довоенного времени, и того, в котором все вы можете различить верхнюю часть моей фигуры.

— Я мог бы рассказать вам о каждом из этих окон, но я знаю — вы не будете меня слушать. Поэтому прошу вас обратить свои взоры только на окно вон там, внизу, где развалилась полосатая перина, которую поутру отчаянно колотила ружейным шомполом краснорукая хозяйка. И еще на окно вон там, правее, откуда с утра до ночи сыплется бренchanье домры; и еще на то, в самом верху, под чердаком, где непрестанно отхаркивает романсы граммофон; и еще на

одно, последнее, что прямо против меня и так свеже-прошпаклевано: завтра его будут красить.

— Почтенные граждане! Республика в конце концов не плохая штука. В республике можно выбивать перины и проветривать их на солнышке, без опасения, что к вечеру придется постлать семейное ложе одним перинным чехлом. В республике можно иметь музыкальный слух и обучаться игре на домре. Совершенно очевидно, что образ правления государства никак не отражается на добротности граммофонных пластинок. И, наконец, республика сравнительно легко усвоила, что крашеные оконные рамы отменно противостоят ветрам и непогоде.

— Дорогие соседи! Стоит ли говорить, что из восьмидесяти пяти окон нашего колодца только одно мое не украшено сверточками с сыром и колбасой, горшочками со сметаной и простоквашей, кастрюльками, молочниками, масленками, густо-зеленым луком и ядрено-малиновой редиской. Даже крайнее чердачное окно, величиной всего с какую-нибудь фортуку, перешеголяло мой запаутиненный, пустой подоконник, не прикосновению сохранив малоделикатный след кота Матроса моей почтенной хозяйки.

Теперь белые ночи, и в нашем колодце отдыхает пропотевшее за день лето. Восемьдесят пять окон открыты настежь. Я воспользовался этим, чтобы произнести вам свою речь — вам, гражданин граммофонщик, и вам, соседка, показавшая свою перину, и вам, владельцы кастрюлок, масленок, горшков и редиски, — всем, кто высунул наружу головы и слушает мой упругий голос.

— О, не пугайтесь: речь моя не затянется. Мне хотелось предложить вам один вопрос, всего один, — и я кончу.

— Добре́йшие обыватели, почтенные граждане! Это верно, что на дворе двадцать второй год. Это верно, потому что мы кушаем сметану и простоквашу, учимся играть на домре и проветриваем перины. Это верно, потому что против перечисленных занятий, как ни мало они революционны, республика не возражает. И, почтенные граждане, не кажется ли вам...

На этом месте речи в гул голоса, качавшийся в каменной коробке смежных домов, врезался окрик:

— Андрей!

Человек в расстегнутой на груди рубахе перестал говорить и посмотрел туда, откуда раздался окрик. Потом вдруг отшатнулся в глубину комнаты, вновь подбежал к окну, высунулся до пояса, притупившимся голосом спросил:

— Какой номер квартиры?

— Встретимся на улице! — упало в колодец.

Андрей, как был — незастегнутый, трепаный, — выбежал из комнаты.

Хозяйка заперла за ним дверь, выглянула в колодец и, окинув одним взглядом восемьдесят пять окон, пролепетала запрыгавшими губами:

— Я давно думала, что он помешался! О, это ужасно!

ПИСЬМО

Дорогая моя.

Вот я опять пишу тебе и опять не знаю, что нужно сказать.

Я боюсь больше всего, что ты разорвешь письмо, как только узнаешь мой почерк.

Или нет. Я боюсь больше всего, что пишу мертвой. Что ты — мертвая. Я не так выражаюсь: что ты умерла уже, а я пишу тебе.

Мари, моя маленькая, мне стало ясно одно. Помнишь, раньше мне многое представлялось ясным. Сейчас одно: мне нужно сесть с тобой рядом и рассказать все по порядку. Я как-то не могу припомнить все по порядку. Ясно одно, что если ты меня выслушаешь, то я все пойму, и ты не будешь больше кричать, как тогда, два года назад. Как ты кричала тогда, Мари...

Я что-то путаю.

Погоди, я похожу по комнате и подумаю, как проще сказать самое нужное, Мари...

Да. Мне кажется, ты поймешь меня, если я расскажу... или нет, сначала вот о чём.

Весь сумбур (я думаю, нашел бы силы написать как следует письмо, если бы не это), весь сумбур оттого, что я решил... Мари, я не знаю, что со мной! Я еду к тебе. Я решил. Я не могу больше. Все равно. Я заткну уши и убегу. Пусть вопят, умирают, пусть! Я должен к тебе.

Курт — настоящий человек. Я встретил его сегодня здесь, в Петербурге, совсем неожиданно. Он берется довезти меня, то есть помочь мне. Он узнал меня по голосу, хотя это было при странной обстановке. Вообще, со мной неладно. Курт сразу сказал, что мне надо переменить климат. Я, конечно, ни слова о том, что хочу увидеть тебя. Согласился насчет климата. Мне, Мари, немножко смешно, когда говорят о климате, о нервах. Хотя я очень устал. А Курт не устает.

Дело в том, что...

Я перечитал начало. Вот мой рассказ. Мне вспомнилось, как я зимой натолкнулся на собачонку, которая царапала передними лапами запертую дверь. Хозяин собачонки спал, что ли, а может не хотел отворять двери: была вьюга. Я подошел к двери и увидел на притоптанном снегу красные следы собачьих лапок. Собачонка, царапая дверь, раскровенила себе лапы.

Она не могла понять, что вовсе не нужна на этом свете.

Я это понимаю. То есть про себя...

13 июня, утро.

Сегодня у меня был Курт. Мы условились окончательно. Я еду к тебе, Мари!

После его ухода мне стало спокойно. У него хорошие руки, плечи, рот. Комната в его присутствии приобретает смысл. Мне сразу стали приятны и нужны стол, кровать, окна. Курт — хорошо организованный человек. Я перечитал написанное вчера. Посылаю тебе: смотри, какой я теперь. Там — верно насчет собачонки.

Я, конечно, виноват перед тобой. Но я не виню себя в том, что тебе кажется, наверно, самым тяжелым проступком против тебя, против нас.

Мне действительно нужно установить какой-то порядок. Во мне все спуталось. Я не знаю, где же именно и когда я непоправимо сбился, или налгал, или ошибся. В последних событиях (то есть до того, как ты приехала сюда и потом исчезла,— дальше ведь не было никаких событий) я не нахожу связи. Может быть, она и есть. Это какой-то клубок, все эти годы.

Насчет собачонки.

Я всю свою жизнь старался стать в круг. Понимаешь, чтобы все в мире происходило вокруг меня. Но меня всегда отмывало, относило в сторону.

Попусту раскровенился.

Я это понял вот на чем.

Сначала, однако, еще два слова. Недавно я хлопотал о каких-то бумагах. Мне задали вопрос: «Ваша профессия?» Я не мог ответить. Мне вдруг пришло в голову: к какой профессии готовился я прежде? Я сбился, вышло глупо.

Ты понимаешь, я все время боюсь забыть свою мысль, боюсь сбиться.

Я проходил торговыми рядами. Заглянул в какие-то ворота. Толстые крепостные стены ушли в землю. На дверях складов — ржавые замки. И по всему двору лебеда, крапива, лопухи, железные обручи, щебень. Как на пустыре.

Меня сжала тоска. Против воли. Это так безотрадно и нудно. Я думал о каком-то всеобщем конце. У меня похолодели руки.

Но я все еще... словом, я не переставал царапать...

И вот всего на этих днях, под Москвой, с Поклонной горы один приятель показал мне на новую радиостанцию. Башню выстроили во время революции. Она сначала обрушилась. Ее вывели снова. Негодными инструментами, закусив губы. Вывели. Волны ее достигают Америки.

— Знаешь, — сказал мне мой приятель, — мы теперь выстроим станцию, волны которой опояшут весь земной шар. Москва подает — Москва принимает. Вокруг света.

Я тогда подумал, что это глупо. Но тут же посмотрел ему в лицо...

Словом, я бросил царапать..

Это бесплодно, бесплодно, черт побери! Добрая воля, любовь, желание — всего этого слишком мало. А потом — этого вовсе и не нужно. Чтобы есть и пить, не нужно ни доброй воли, ни любви. Эти люди, в сущности, делают не больше того, что они должны делать по природе. Они ничего не замечают под ногами, они вечно — вперед и вверх. И с таким напряжением, точно они не люди, а какие-то катушки, румкорфовы катушки. Если им сказать про ржавые замки, лебеду и щебень, они ничего не поймут. Они в круге; наверно, в центре круга.

Меня пронизывает мысль, что я пишу мертввой. Если это так, я воскрешу тебя, чтобы ты поняла, что я не лгал.

Моя вина в том, что я не проволочный.

Ты должна понять меня, Мари.

Андрей.

ФОРМУЛА ПЕРЕХОДА

Комитет состоял из семерых. Все пристально следили за Куртом, который говорил; даже секретарь каждую минуту отрывался от стенограммы и собирая на лбу треугольник мелких морщин, точно прислушиваясь к тому, что должно было происходить где-то за пределами комнаты. На председательском месте сидел человек в толстых очках, фокус которых ни разу не переместился, пока Курт говорил.

Курт стоял прямо против председателя, уткнув кулаки в стол и коротко потряхивая головой в конце каждой фразы. Говорил он без запинки, будто читал по книге; и речь его была книжной. Крупинки пота обметали его верхнюю губу.

— Я резюмирую, — сказал он.

— Этот человек находился в состоянии нравственного упадка в тот момент, когда признался мне в своем преступлении. Насколько я мог наблюсти, его умственные силы были также расшатаны. Я знал, что все это было результатом тяжелого потрясения в его личной жизни. Поэтому я отнесся к его признанию с

большой осторожностью. Но я приучил себя мыслить объективно и действовать сообразно выводам разума. Моя память последовательно восстановила все мои встречи с этим человеком в Семидоле, факты его личной жизни, связанные с маркграфом, наконец обстоятельства исчезновения маркграфа из Германского совета солдатских депутатов в Москве. Фактический ход событий совпадал до мельчайших подробностей с тем, что я услышал от этого человека во время его последней прогулки. Он признался мне, между прочим, что собирается разыскать маркграфа, потому что это единственный человек, который может что-нибудь знать о его возлюбленной. Сомнений не оставалось: по личным мотивам он спас жизнь нашему врагу и предал дело, которому мы все служим. Как человек он мне стал ненавистен, как друг, — я был его другом, — отвратителен. Я убил его. На другой день я справился о маркграфе. Он действительно пребывает благополучно в своем замке под Бишофсбергом и, как подобает неудавшемуся авантюристу, служит посильно родному искусству, спекулируя на картинах немецких мастеров. Ошибки не произошло. Полиция считает, что убийство совершено с уголовной целью. До сообщения этого дела комитету я не нашел нужным опровергать такой версии. Я подчинюсь вашему решению.

Курт кончил, точно захлопнул прочитанную книгу.

Председатель обернулся поочередно ко всем заседавшим.

— Вопросов нет?.. Товарищ Ван, потрудитесь удастись.

Курт вышел. В смежной комнате он обтер платком лицо, раскурил сигару и уселся поудобнее в кресло, приготовившись к ожиданию. Синие полосы дыма, увязая друг в друге, закачались посреди комнаты. В них раскрылся чей-то рот, скрюченная пятерня медленно обернулась пальцами снизу в бок, к ней приросла рука, согнутая в локте, потянулась к Курту.

— Глупости! — проворчал он и с силой подул на дым. Синие полосы нанизались воронками на струю воздуха и пропали.

— Товарищ Ван!

Семь человек в прежнем порядке сидели за столом. Председатель навел очки на секретаря. Тот приподнял бумагу и огласил:

— «...заслушав сообщение товарища Курта Вана, единогласно постановил: считать образ действий названного товарища правильным, дела в протокол не заносить, стенограмму уничтожить и перейти к очередным делам».

Секретарь согнул бумагу надвое и разорвал ее:

— Садитесь, товарищ, — сказал председатель.

Курт придвинул стул. Он был спокоен и прост, как будто не сомневался, что услышит такое приглашение.